

# Война глазами пришвина

Ирина РЕПЬЁВА, член Союза писателей России

Михаил Михайлович Пришвин вёл дневники всю свою творческую жизнь. Он был уверен в том, что, если собрать их в один том, получилась бы книга, для которой он и родился.

Из его дневников я узнала: он появился на свет на три года позже «дедушки Ленина», а умер, разменяв девятый десяток судьбы, в год смерти Сталина. Жизнь, страшная спрессованностью эпохальных, беспощадных событий, частой и жестокой сменой власти. И через всё это — желание сохранить право на «свой удел» в литературе, на собственную охотничью тропу в жизни. Не потому ли дневники Пришвина, земляка по Орловщине Тургенева, Бунина, Кольцова, Никитина, писателя, из которого время от времени то та, то иная власть, подминая, начинала «лепить политика», на мой взгляд, гораздо увлекательнее даже дневников Льва Николаевича Толстого.

Не пропустив эти сотни страниц через сердце, никогда не поймёшь, почему пассивный второгодник Миша Пришвин, исключённый в конце концов из гимназии «за дерзость», стал учителем, агрономом, дипломированным выпускником Лейпцигского университета, а на пятом десятке лет — и классиком русской литературы. А ещё раньше, до погружения в каждодневное писательство, он, сын купца, был арестован за революционную работу и даже просидел год в «одиночке». Он объясняет это временное увлечение так: «Я был чрезвычайно доверчив, влюбчив в человека... болтал». Наверное, лет до тридцати он оставался немного инфантильным. Но литературе от его почти детского чистосердечия была только прибыль. Из дневников писателя можно узнать, как по-мальчишески пылко он всю жизнь любил только одну женщину, и как до восьмидесяти лет, прежде всего ей, давно забывшей его, доказывал своими победами на «литературном фронте» своё право на... платоническую любовь к ней через множество европейских государственных границ. Ещё в молодости она пренебрегла им, потому что он казался ей «несерьёзным». «Женщина протянула руку к арфе ... и я запел», писал он о своей любви. И: «Я погас и заболел непонятной мне душевной болезнью».

Эта болезнь, тревожная, ядовитая, преследовала его всю жизнь, но она же заставляла его лечиться лесами и охотой. Не знаю другого писателя, который мог бы так же, как Пришвин, разнообразно описывать, кажется, до зевоты похожие зимние утра. Он видел оттенки в красках неба, снега, в звуках мороза, в шёпоте деревьев... Первый рассказ в тридцать три года: «... только от скуки... И вдруг: радостное волнение охватило меня... величайшее открытие в моей жизни... Теперь я только и ждал, чтобы...» Так его потянуло объездить, обойти пешком Карелию, Норвегию, Азию, а в шестьдесят лет — Дальний Восток.

И стыдно теперь признаться себе, что мы-то с вами знаем Пришвина лишь по нескольким рассказам, прочитанным в начальной школе! И только из дневников его можно узнать, что писателя и его прозу очень высоко ценил Блок, что Михаил Михайлович лично знал всех символистов (многие из которых называли его прозу «бесчеловечной»), и обо всех, оказываясь, успел он составить своё мнение. Зинаида Гиппиус, кстати, с упрёком называла его «легконогим и ясным странником, с глазами вместо сердца». А он и через двадцать лет огорчённо спорил с ней, обосновывая свой литературный метод: «Свойство Пришвина исчерпать в своём материале так, что сам материал, материя, земля, делается героем его повествования...!» Он и перед смертью, в 1952 году, «думал о Гиппиус», признавался в дневнике, что в своё время хотел, как и они, символисты, «писать изысканными фразами, готовить их, запоминать. И сам не знаю, как это Бог спас меня от такой беды!»

Сюжет не давался ему. Может быть, потому, что он был всё-таки поэтом в прозе: что стоит, например, такое его выражение, как «серые слёзы весны»!

Это Пришвин придумал деление весны на весну света, весну воды, весну первой зелени и весну человека! Он сам считал, что больше всего ему удаются маленькие вещицы, «попавшие и в детские хрестоматии». «Из-за этого я их и пишу, что они пишутся скоро, и,

пока пишешь, не успеешь придумать от себя чего-нибудь лишнего и неверного. Они чисты, как дети, и их читают и дети, и взрослые, сохранившие в себе своё личное дитя». В сталинские времена «бесчеловечные» рассказы писателя воспринимались как аполитичные. Но тогда же он признаётся в советской литературе как классик. А за это признание, за издание прижизненного собрания сочинений надо платить: ничего не даётся человеку даром. И храня дома, в дневниках, смертельно опасные обличения вождя, он был вынужден ломать себя, ехать, например, на строительство Беломоро-Балтийского канала. Однако вещи искусственно, насильно оплодотворённые ему не удавались. Зато некий компромисс с властью обеспечивал право на «то место, где я стою» в литературе, «единственное, тут я всё занимаю и другому стать невозможно. Я последнюю рубашку, последний кусок хлеба готов отдать ближнему, но места своего уступить не могу, и если возьмут его силой, то на месте этом для себя ничего не найдут и не поймут, из-за чего я бился, за что стоял».

И вот в его дневниках — война. Уже не первая в его жизни. И тут открылось, что за его «аполитичностью», «бесчеловечностью» — человеческие слёзы, человеческое страдание. Как всё это, описанное им на десятках страниц дневника, изложить в одной статье? Представьте себе почти семидесятилетнего лирика в деревне под Москвой, который ещё 21 июня 1941 года заносит в дневник благодушное: «Вчера по приезде, в лесу, с какой радостью встретили меня друзья мои, и особенно свечки на соснах, как будто прямо шептали, узнавая и спрашивая: друг мой, где же ты пропал?»...

А вот и отрывки из дневника М.М. Пришвина в период лихолетья страны.

## Война (4 утра 22 июня)

*Ефимов, механик, сын хозяйки нашей в Глухове, сегодня около двух дня вылез из клетки и сказал: «Знаете или не знаете?» И, увидев, что не знаю: «Сегодня в 4 утра фашистская Германия» и проч. И всё полетело...*

**25 июня.** По радио передавали глухо о больших сражениях. Из Москвы вести: река женских слёз. И скоро, с фронта, река мужской крови. Расставаясь, плачут даже и молодые парни этими женскими слезами...

**26 июня.** Весть о войне всех ударила в лоб и всех оглушила, и вот уже пятые сутки мы хотим прийти в себя и не можем... Но сегодня, на пятые сутки, кто-то сказал: «А если немцы вот уже пятые сутки не могут продвинуться, то, значит, трудно». И вроде как бы зашевелилась надежда на спасение. Слова о доблестной Красной Армии получили живой смысл...

**3 июля.** С некоторым трудом... добрались до Москвы. Единственный признак событий в Москве — это люди с противогазными сумками... Ночь душная... сквозь хмару сияние мутного бесформенного месяца. Ляля (жена. — И.Р.), увидев такое небо, сказала: «Сегодня ночью будет тревога». И не могла заснуть долго, а когда забылась, то... вслед за этим завывала сирена... и в дверь ударили кулаком. «Вставайте, тревога!» Мы не спеша вошли в подвал и сидели в нём 1 час, с 2 до 3, сонные, безо всякой тревоги.

**4 июля.** Приходил Н. и говорил мне, что люди у нас заметно изменились к лучшему: всех объединил страх за родину.

**5 июля.** Отправил в «Правду» «Моему другу на фронт»... Плачьте, женщины! Лейте слёзы, как можете: ни одна слеза ваша не пропадёт даром. Я знаю по себе самому: именно эти слёзы рождали во мне мужество. И как? А как дождь, этот небесный плач, поднимает силу земли, так в человеческой душе женские слёзы...

**14-й день войны.** По замыслу Гитлера, в 14-й день должно было им взять Москву, а бои на Березине за 700 — 800 вёрст от Москвы... Москва, как и Ленинград, потихоньку эвакуируется, и уверенно никто не скажет, что Москва не будет взята немцами. Но всякий знает, что Россия останется неразбитой страной и без Москвы, а немцы придут в Москву в существе своём разбитыми. Они и теперь разбиты, потому что их расчёт был на ненависти к большевикам. В этом они просчитались...

**19-й день.** Мудрость жизни состоит в том, чтобы, сохранив во всей полноте своё детское «жить хочется», приучить себя к мысли о необходимости расставания со всем, чем обладаешь, и даже с собственной жизнью. Всё, чего страстно хочется, — то вечно, а всё, что «собственное», то смертно.

Очерк в районную газету. Небывалое случилось на памяти нас, отцов наших, дедов и, может быть, даже и прадедов. Я слышал, будто бы в метеорологических записях за 250 лет тому назад не было случая, чтобы в июле месяце под Москвой цвели ландыши!.. И вдруг после таких страшных холодов вдруг жара и такой рост трав, что цвет ландышей сошёлся по времени с цветом шиповника... Сила жизни... Есть ли ещё в Европе другой такой народ, кому так хочется жить?.. Я вспомнил юношу на платформе с зенитным орудием. Стон и вой, и вопль были в воздухе от деревенских жёницин... «Он улыбается!» — сказал кто-то возле меня. И кто-то ответил: «А ты взглядишь и пойми, чего эта улыбка стоит ему!»

И вот теперь я смотрю на это море радостных цветов под берёзой, на всю эту улыбку земли и сквозь свои собственные слёзы вижу победителя — юношу с цветами в руках.

**23 дня войны.** Жаркие безоблачные дни. Скорая уборка сена. Кукушку больше не слышно. Недавно она прокуковала мне жизни 91 год. А мне бы только увидеть свет после войны.

**Месяц войны...** Был у Фадеева. Он предлагает выступить на немецком языке по радио; сказал, что пожилых заслуженных людей, вроде Нестерова, Москвина, Качалова и др., хотя бы эвакуировать особым порядком и что я тоже могу с ними... В метро после Фадеева... объявили тревогу, и я провёл час... в поисках места на рельсе, прошёл под землёй от ст. «Дзержинская» до «Кировской». Духота, масса людей в подземелье... чужих людей с общей участью. Пришёл домой. Загудели сирены, и мы очутились в кочегарке, потому что убежище было переполнено. Началось светопреставление, перед которым вчерашнее было игрушкой...

**25 июля.** 4-й день раскапывают и не могут раскопать похороненных в бомбоубежище.

**26 июля.** ...В 7 утра выехали через Сокольники... И поехали в направлении Загорска... И вот что странно: много бабочек. А почему это странно? И особенно непонятно, почему мы, спасённые, чувствуем какую-то неловкость? Дело в том, что, хлебнув до конца горького вина человеческой самой настоящей жизни, самого страдания человеческого и вернувшись на остров спасения, начинаешь понимать, что война, как теперь, не случайность, война только открыла глаза, что сущность — страдание, это всегда и в благополучии, мы лишь закрываем глаза.

**День 43-й.** Не жалко мне было бросить свой домик в Старой Рузе и свою прекрасную квартиру в Лаврушинском. Стал сегодня бриться и увидел впервые, что кожа на моей шее за эти дни начала морщиться, как у стариков. С некоторым страхом я этого ожидал и раньше, но теперь мне было не жалко: пусть дом, квартира, пусть шея, пусть всё тело, пусть самая жизнь — не жалко и этого!

Когда нива поспела и колосья согнулись от тяжести зёрен, — не верьте колосу, что высоко над нивой стоит: этот колос пустой.

Характерная черта русского народа: очень быстрое, легкомысленное успокоение. Вот теперь все бабы на базаре говорят, что в Москве стало легче, что вообще война скоро кончится.

**13 августа.** Вечером выехали в Переславль, с тем чтобы ночевать на Кубре, а утром выехать чуть свет и приехать в Москву в 8 утра. Так и сделали. На Кубре ночевали с погонщиками эвакуированных из Белоруссии стад. Узнали, что взят Смоленск. Погонщики наняты на десять дней, а гонят уже 28, босые, измученные люди. Их семьи остались за эти дни по ту сторону фронта. «Родина, а где родина?» — «Так, милый, нельзя думать, — сказал я, — что если моя деревня взята, то, значит, взята и родина».

**20 августа...** Из московских впечатлений самое главное, что известие о падении Смоленска всех придавило, все об этом думают, и дума из человека незнакомого высвечивает как бы нимбом. Сытых и довольных вовсе не видно, а заметно очень, что средний человек стал лучше.

Прошло два месяца войны. Враг на пороге у всех жизненных центров страны. Простые

люди ждут переворота («Минина и Пожарского»).

**Сентябрь...** Мне теперь кажется, будто бы мы с тобой по океану на двух льдинках плывём. Моя поменьше, твоя побольше, моя льдинка раньше разобьётся, и я должен тебе поручить себя после моего неизбежного физического конца. А ты, когда сама разобьёшься со своей льдиной, попытайся нас поручить следующему носителю, как один поток, сливаясь, поручает другому свою воду нести в океан... Нет, я, конечно, не знаю того большого человеческого Слова, которое как поперечная линия пересекает линию природы... Жизнь повернулась к нам такой своей стороной, когда поэзия Пушкина, Тургенева и даже Льва Толстого почему-то неприятны, и хочется читать Гоголя, Лермонтова и Достоевского. Почему это?... Наступает величайший момент жизни народов, когда именно и свершаются чудеса... Жалость и насилие одинаково могут быть продуктами распада любви... Чтобы там ни говорили, но фронт счастливее нынешнего тыла, озабоченного, полуголодного, осыпанного бомбами и в ожидании эпидемических болезней.

...Иногда, очнувшись в лесу от своих мыслей, я как бы выгляну из себя и вдруг увижу вокруг деревья, цветы, травы, птиц, муравьёв, как существ живых, самостоятельных. В особенности молодые сосны или берёзы, расставленные где-нибудь на лесной поляне, — глянешь на них из себя и вдруг увидишь в каждой свою судьбу, свою борьбу. Тогда откроется в душе родник радости жизни, чистой, святой, и страстное желание прийти к людям, не понимающим этого, и открыть им непостижимые сокровища жизни, скрытые от них суетой, пустяками... Вот почему люди, привыкшие ценить в искусстве лишь красоту, а не знание и волю, не скоро меня поймут. Это видно по книге «Жень-шень». С каким священным восторгом её читают немногие, и как равнодушны к ней массы читательские. Видно это и по тому, как встретили мою «Фацелию». Я хотел открыть мир, за который надо вести священную войну, а они испугались, что открываемый ею мир красоты в природе помешает обыкновенной войне.

...Ночью была стрельба и тревога, но я пролежал в кровати, — это первый раз за всё время. Начинаем привыкать... В Переславль я приехал в 7-м часу... Нас встретили тепло и деревья, и впервые мне так ясно было, что души у деревьев горячие... Надо быть ближе к самому себе и не искать спасения извне.

**1 октября.** Стеснённый и даже почти что задушенный, вышел я в бор, там в холодном свете золотистой зари сосны горели. И мне стало жутко стыдно за себя, за своё существование, и ненавистны мне были написанные мои бумаги и этот ежедневный труд, в котором я похож был на червяка, ползущего с целью оползти неизвестно зачем земной шар. Страстно захотелось уничтожения себя как писателя и начала жизни совершенно простой, как у всех. Мне захотелось потихоньку от Ляли перетаскать сюда, в лес, дневники свои и спать всё, и не писать ничего нового до тех пор, пока с потребностью писать не станет невозможно бороться. От этой мысли освобождения себя самого из плена писательства (по книге в год. — И.Р.) мне стало делаться лучше и лучше, пока, наконец, не кончилось всё простой мыслью: «При чём тут дневники, если, может быть, и сам-то скоро умрёшь... Стань в этом свете неминуемого костра своего, как стоят эти сосны в свете золотистой зари, и подумай про себя, на корне своём в неподвижности полной: «Разве что-нибудь значит для тебя такого этот ничтожный червячок, этот ты, кого-то из себя представляющий».

Так я прислонился к дереву, слился с ним и мало-помалу стал совершенно спокоен.

**3 октября.** Неведомым морозиком обожгло листики черники и голубики, они покраснели, а лиловый вереск побелел.

**7–31 октября.** Наступает страшное время, надо собираться на борьбу самую грубую за жизнь и самую тонкую — за смысл её.

Заря жёлтая, холодная, не покрытая снегом, земля зябнет, и даже любимые зубчики леса, расположенные пилкой на фоне зари, не говорят ничего моему сердцу.

Вязьма взята... Собрались к 10 утра и выехали в Москву... Это путешествие в Москву теперь представляется мне, будто выхватил из мировой жизни какой-то полный день... Как подстреленный самолёт... наша машина сорвалась... Все живы...

*А Н-ч. отказался ехать и остаётся, и весь медицинский состав Москвы отказался эвакуироваться: это единственный честный, здоровый и целесообразный поступок. Помощь нужна и в осаждённой Москве... Архивы: у нас в доме не было топлива. А теперь оказалось, все радиаторы горячие и в ванне горячая вода. Топливо явилось от архивов, дворники на тележках везут домовые книги, смеются: единственный ценный продукт жизни — «слово» — уничтожается, а я, личность, с величайшим риском для жизни, выхватываю своё «слово», а я берегу, пусть не Слово, пусть словечко, а всё-таки я берегу... Удастся спасти архивы, и риск жизнью будет оправдан, нет — мы сделали ошибку.*

*Мы теряемся, как стволы деревьев в тумане, перед грядущим, возможно, ужасным и унижительным. Особенно всем жутко вспомнить, что в программе фашистов будто бы есть цель уничтожения славян...*

*В Москве объявлено осадное положение... Въезд и выезд запрещены.*

*... Взят Таганрог... Знаменитые свои тетрадки, спасённые из пожара в Брыни, решившие судьбу мою во время Мамонтова в Ельце, теперь я заклеил в резиновые мешки. Мы весь день сегодня заклеивали в мешки и забивали в ящики свои вещи.*

*... С утра летит снег и тает. Ходил осматривать лес, где бы можно было устроить вещи. Слышалась отдалённая артиллерийская стрельба. Германские листовки предлагают живущим вдоль шоссе дней на пять оставить жилища и перебыть в соседних деревнях.*

*...Пробовал Гоголя почитать, поэта самого глубокого, и даже в его глубине теперь не мог найти поэзии, возмещающей жизнь. И всё казалось при чтении, что нет и не может быть такого возмещения, и если будешь стремиться писать по-серьёзному, то всегда с поэзией будешь сбоку припёка. Так что для поэзии есть показание времени, и вот чем объясняется, что даже Ляля, принявшая на себя теперь долг ухода за матерью и за мной, теперь зло передёргивается, когда я иногда пожелаю сказать что-нибудь на литературную тему... Скорее, скорее проходите, пролетайте, исчезайте, эти дни ужаса в пустоте!*

*...Хозяин наш 44 лет получил повестку идти на фронт...*

*...Только теперь, когда я сам превратился в букашку, я понял, почему я с таким родственным вниманием всегда разглядывал маленькие живые существа в природе: я им сочувствовал, предугадывая возможность и неизбежную необходимость моего собственного перевоплощения в такую мировую подробность.*

*Сегодня открылось тульское направление и верные слухи пришли из Москвы, что немцы сыплют бомбы, а мы строим баррикады и копаем на площадях рвы.*

**Ноябрь.** Утром в полумраке я увидел на столе в порядке уложенные любимые книги, и стало мне хорошо на душе. Я подумал: сколько чугуна пошло на Днепрострой, на Донбасс, — и всё взорвано, страна пуста, как во время татар или «Слова о полку Игореве». Но вот оно, «Слово», лежит, и я знаю, по Слову этому всё встанет, заживёт. Я так давно занят был словом и так недавно понял это вполне ясно: не чугуном, а Словом всё делается.

*... В Госбанке пытался наладить получение денег и пенсии. Бухгалтер М.С. Троицкий рассказал, как он жил эти дни в Москве: «3 часа живёшь, 3 часа сидишь в убежище». Есть нечего — только по карточкам. Много разрушенных домов, много убитых.*

**7 ноября.** В «Известиях» напечатали о решительном бое.

*...Никто не скажет теперь наверное, перейдёт ли он живым через Порог...*

**10 ноября.** Речь Сталина произвела огромное впечатление...

**18 ноября.** Говорят, люди в Москве теперь полусумасшедшие. И не мудрено: такой казни массовой, посредством метания бомб в дома больших городов, ещё не было.

*...Ну-ка, ну-ка, вставай, Лев Николаевич (Толстой), много ты нам всего наговорил...*

*...Сегодня иней, снег только-только не тает, так тепло для зимы и такая тишина!..*

**19 ноября.** Теперь даже один наступающий день нужно считать как ВСЁ время... Да если бы оно и пришло, то благополучие, то всё равно эти дни Суда всего нашего народа, всей нашей культуры, нашего Пушкина, нашего Достоевского, Толстого, Гоголя, Петра Первого и всех нас — будут значительнее тех будущих дней...

**21 ноября.** И Слово потеряло силу, и отошло куда-то в молчание. И человек, пристав-

ленный к машине, потерял волю и смысл... Даже и к этому люди привыкают, спасаясь тем, что кого убило, тот не чувствует, а кто остался, тот радуется, что сам уцелел. Не то страшно, а вот страшно всем, что это МОЖНО, и против никто ничего не может сказать.

**29 ноября.** Пока не кончится война, как ни бейся, всё равно ничего не поймёшь. И ничего не поймёшь, пока делается, и только уж когда кончится. Так вот и наша личная жизнь: рост сознания нашего связан со смертью. И когда умрёт человек, то всё бывает понятно.

**3 декабря.** Ночью со 2-го внезапная перемена погоды: мягко и снег идёт. Где-то будто бы происходит «решиительный бой», а здесь наступила полная тишина и неведение.

**4 декабря.** Сегодня после однодневной оттепели хватил опять мороз.

**6 декабря.** Мороз — 30.

**8 декабря.** Япония объявила войну Англии и Америке. Значит, теперь всё человечество, весь земной шар находится в состоянии войны. Вот теперь настало время прекратить ленивую мечту о скором конце войны и возвращении к привычной жизни.

**17 декабря.** Взяли назад Калинин, Елец, Ливны. Лесник сказал: «Отступить так отступить, гнать так гнать!»

**23 декабря.** Получили свежие газеты, из которых видно, что немцев под Москвой мы с помощью мороза действительно поколотили.

**1942 ГОД**

**3 января.** Ночи проходят лунные в тишине при страшных морозах в засыпанном снегом лесу. И одним, кто вплотную должен бороться с морозом за жизнь, этот страшный лес при луне представляется, может быть, неисчислимыми войсками врага, беспрерывно пускающего свои пронзающие кожу стрелы. Другое дело, когда счастливым победителем входишь в лунную ночь...

**6 января.** Бор шумел. И я думал, вспоминая день охоты, от которого родился «Смертный пробег»: я тогда близко почувствовал ледяное дыхание смертоносного начала... Из последних сил, когда уже больше ничего не остаётся для жизни духа, я бился за огонь: руки мои были деревянные, пальцы чугунные, спичку ими нельзя было держать, и всё-таки я бился, бился, и всё моё, вся моя личность ушла на борьбу за огонь, и я победил, и когда победил, то у меня явилось прежнее благодушное отношение к морозу, благодаря чему я в эту же ночь дома, выпивая горячий крепкий чай, написал свой «Смертный пробег».

**8 марта.** Удивляюсь, слушая о Ленинграде, живучести человека. Скорее умирают мужчины, потом женщины, и всего выносливее оказываются дети.

**24 сентября.** «Скажите мне, если мы останемся целы в этих испытаниях и сохраним свои души, не стыдно нам будет?» — «Перед кем?» — «А хотя бы перед мёртвыми, теми, кто положил души за други». — «Нет. Если нам это не было дано, то почему же стыдиться».

**1943 ГОД**

**4 ноября.** Вчера прихожу в «Советский писатель», там мне говорят, что книжечка моя о радости «Фацелия» напечатана, та самая «Фацелия», которую именно за радость её запретили перед войной. «Война на носу, — писали о ней, — а он радуется». Теперь же понадобилась радость и книжку напечатали, и в ней о войне ни слова, как будто она давно кончилась. Весь день я ходил радостный, и в моей душе это было концом войны.

**1944 ГОД**

**12 июня.** «Вы натуралист», — сказал мне Калинин. «Нет, Михаил Иванович, — ответил я, — скорее всего, я реалист».

## Послесловие

Когда я перепечатывала для статьи в журнале эти страницы дневника М.М. Пришвина, мне думалось о сегодняшней незаконченной войне в Чечне. И такое было чувство, как будто Михаил Михайлович прошёл и эту войну, и вот теперь мы читали комментарии к ней. Потому что отвечал он на те самые вопросы, которые, наверное, каждый из нас задавал себе уже не

раз: «Биться ли России с бандитами до конца? Не напрасно ли отданы войне молодые солдатские жизни? И не навредим ли мы этой войной и всеми её потерями нашему человеческому сознанию, нашей такой в общем-то хрупкой душе?» А главное: как нам, журналистам и учителям, объяснить эту войну самым маленьким нашим согражданам, тем, кто учится в школе? Я не стану пересказывать все ответы Пришвина. Скажу только, что вполне удовлетворена его объяснениями. Поэтому и захотела предложить их вашему вниманию. Ведь нам с вами, педагогам и писателям, дано право прикоснуться к Вечности через Слово. Мы даже в какой-то степени, причастны к высокому со-Творчеству. Нам повезло. Мы должны радоваться. Но мы не должны забывать и о своей ответственности. Поэтому очень бы хотелось, чтобы наши лица, обращённые сегодня к солдатам и детям, по словам митрополита Суражского Антония, Вечностью бы «сияли». Ведь взгляд в Вечность должен быть всё-таки светлым...